# Эммелина

# Туве Марика Янссон

Когда Старая Фрёкен с четвертого этажа перестала гневаться и мирно почила вечным сном, соседи чрезвычайно заинтересовались, что же будет с огромной квартирой в доме, построенном в начале века, где она прожила девяносто лет. Рано или поздно стало известно, что квартира перейдет к Эммелине, девятнадцатилетней девушке, своего рода компаньонке, попросту присланной из конторы по найму, стало быть, вовсе и не родственнице. Откуда прислуге удалось разнюхать это, никто не знал, но во всяком случае не от Эммелины, которая никогда не говорила ни единого слова о самой себе, да и немного о чем-либо еще.

Как бы там ни было, завещание едва ли было продиктовано чувством преданности или благодарности. По словам той же прислуги, компаньонкой Старой Фрёкен с неменьшим успехом могла быть кошка, а Эммелина пусть даже и заботилась о старухе совершенно безупречно, однако делала это как будто по рассеянности. Чаще всего она сидела возле ее кровати и читала вслух до тех пор, пока Старая Фрёкен, разозлившись, не требовала новую книгу, и постепенно ею обуревало лишь желание знать, что же будет в конце. Если ты — прислуга и постоянно ходишь взад-вперед, то кое-что и слышишь, и видишь. Бедняжка Старая Фрёкен пыталась расшевелить эту Эммелину, заставить ее как следует разозлиться, день и ночь звонила в колокольчик, требуя что-нибудь, совершенно ей ненужное, и жаловалась на то или на это... Но нет, такую, как Эммелина, ничем не проймешь, и с такими, как она, вечно тихими да спокойными, дело неладно, это ясно.

— Даже страшно как-то, — говорила, понизив голос, прислуга, — от нее, этой Эммелины, у меня иногда мурашки по спине бегают, да так жутко-прежутко.

Но вот прошло полгода, а Эммелина продолжала жить в большой квартире. Она ничуть не изменилась, все шло по-прежнему, как во времена Старой Фрёкен. Эммелине, казалось, были по душе эти мрачные комнаты, где едва можно было разглядеть беспорядочно нагроможденную мебель и разный ненужный хлам, она ходила или, скорее, бродила из одной комнаты в другую с явным удовольствием и не строя никаких планов на будущее.

Прислуга, продолжавшая ходить раз в неделю, рассказывала, что Эммелина спала в столовой, самой большой комнате, где стулья были выстроены вдоль стены, и что на сувенирной полке у нее стояло множество стеклянных шаров. Но уж если ты чокнутая, то чокнутая, и тут ничего не поделаешь. Однако время шло, и соседи забыли Эммелину, редко показывавшуюся на людях, и все в доме снова стало по-прежнему.

Позднее Давид, живший этажом ниже и работавший в рекламном бюро, думал, что, наверное, много раз проходил мимо Эммелины по лестнице, не замечая ее, такую маленькую и бесцветную. И вот настал тот примечательный вечер.

В его комнате погас свет. Не найдя карманного фонарика, он вышел на лестницу. И тут он увидел, как по лестнице медленно, шаг за шагом, спускается Эммелина с горящей стеариновой свечой в руке. Давид разглядел ее лицо, такое спокойное, такое абсолютно отдохновенное лицо, ласкаемое скользящими вниз тенями, что отбрасывало пламя свечи. Она показалась ему необыкновенно прекрасной и таинственной.

В ту ночь Давид вызвал в памяти преисполненный покоя образ девушки со свечой, чтобы прогнать все то, чего он боялся; а осознание происходящего с ним неумолимо подступало всякий раз, как только опускалась ночь. Он понимал, что ненавидел работу, которой занимался, но был слишком труслив, чтобы бросить ее и начать все с самого начала. Кажется, это так просто. Ведь множество людей, тридцатипятилетних людей, понимают это и круто меняют свою жизнь, разве не так? Нет! Они все продолжают и продолжают тянуть лямку. Они не осмеливаются, они не в силах сделать это. Они не решаются...

Проходили ночи, и постепенно образ девушки со свечой потускнел в его памяти — да и что, собственно говоря, общего было у нее с его жизнью?

Давида мучили кошмары, в которых он пытался уговорить клиента, развлечь его одними и теми же анекдотами, наивными и заезженными фразами, жизнерадостными и насквозь фальшивыми... Или важные деловые ленчи; а он будто забыл адрес, или имя клиента, или вообще забыл, о чем речь, и что уже слишком поздно, все время слишком поздно, а он бешено мчится по улицам, или что он подорвал многолетнее доверие к себе.

А утром он снова шел на работу.

Давид написал Эммелине письмо и тут же разорвал его.

Но ведь у него был Кнут! Время от времени они встречались, чтобы выпить кружку пива и почитать вечерние газеты, а потом разойтись, каждый в свою сторону.

Кнут сдавал напрокат, а также продавал автомобили в нескольких кварталах от дома Давида на той же улице. Однажды Давид был совсем близок к тому, чтобы заговорить о своем отчаянии, но осекся, не желая видеть, как сбитый с толку Кнут беспомощно опускает взгляд на свои руки, точь-в-точь как в школьные годы, когда что-то смущало его.

Иногда Кнут ненароком мог сказать клиенту в своей мастерской: «Как говорил мой товарищ из рекламного бюро об этой марке автомобиля...», или: «Вы могли бы спросить одного из моих друзей в рекламном бюро, он то и дело встречает директоров, разъезжающих на машине этой же марки».

Кнут отпил пиво из кружки и свернул газету.

— Что-то тебя не видно последнее время, — сказал он. — Много работы?

— Ну да...

— И хорошо идут дела?

— Конечно, — ответил Давид. — Ну, пока. Пока!

— Пока, пока, — сказал Кнут.

Можно было бы пойти к кому угодно — к бармену в «Черном медведе», к газетчику — и беззастенчиво излить свою душу, сказав, что тебе, правду говоря, хочется лишь умереть, но потом, ясное дело, было бы немыслимо еще когда-нибудь зайти выпить стаканчик в «Черном медведе» или купить на углу газету.

В конце концов Давид поднялся в квартиру наверх и позвонил в дверь Эммелины, сам не зная, что ей скажет.

— Добрый вечер, — поздоровалась Эммелина, — вы живете этажом ниже, не правда ли?

Вежливо и прохладно, совершенно обыденно она несколько минут болтала абсолютно ни о чем, не спросила она и почему он пришел. Давид был так благодарен за это, что молодая женщина показалась ему по-настоящему интеллигентной. В ту ночь он спал без сновидений.

Они начали выходить по вечерам, всегда в одно и то же кафе в соседнем квартале. Для Давида эти вечера стали чрезвычайно важны: молчание Эммелины и ее спокойствие приносили успокоение и ему; казалось, она ничего от него не ждала и, похоже, пребывала в мире сама с собой. Она никогда не произносила ничего значительного, ничего личного, но тому, что она говорила, предшествовала небольшая пауза, повергавшая Давида в напряженное ожидание. До тех пор, пока не наступал конец этой паузе. Он заметил: все, что он говорил, Эммелина понимала почти буквально, с серьезностью ребенка, и он решил всегда говорить с ней ясно и просто. Достаточно быть вблизи от нее, свободным ото всех других, но все-таки не одиноким.

Давид был очарован волосами Эммелины, светлыми, прямыми, ровно подстриженными — этой блестящей рамкой, из которой, как из окошка, выглядывало ее личико; узкое личико, абсолютно ничем не примечательное, кроме глаз, необычайно светлых, почти бесцветных. И ему нравилось, как она, опустив взор, прислушивалась к тому, что он говорил, а тяжелая масса ее волос падала вниз.

Давид пытался сохранить ее существование в тайне, он боялся утратить эту новую нежную дружбу. Но при всем своем рыцарственном уважении к девушке он наделил Эммелину такими чертами характера, мелкими особенностями, очаровательными пороками, которых у нее и в помине не было; он придумал себе сентиментальную картину ее детства и самой ранней юности. Это превратилось в игру, ничего общего с действительностью не имевшей.

И он думал: «Каким она видит меня? Долговязым парнем в очках, с тонкой шеей, банально и прилично одетым?.. Чувствует ли она, что я несчастлив, понимает ли, как отчаянно я держу себя в руках? Она ни о чем не спрашивает, никогда... Почему она не спрашивает?»

Однажды Эммелина сказала:

— Я собираю хрустальные шары. Я очень хочу их тебе показать.

Когда они шли в квартиру Старой Фрёкен, он сказал:

— Эта старая дама наверняка была очень злой. Тебе, вероятно, бывало трудно?

— Это не было трудно, ей необходимо было позлиться, это успокаивало ее.

— Ты читала ей вслух? Говорят, она все время хотела знать, чем кончается книга, — ну а если конец был плохой?

Эммелина ответила:

— Я выбирала книги с хорошим концом. И она знала, что все будет хорошо, даже конец ее жизни.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты разве не знаешь? Она умерла во сне...

— А ты забавная, — сказал Давид. — Что бы ты читала мне, когда настал бы мой час?

Она ответила:

— Я читала бы тебе Книгу Судеб.

Давид засмеялся, так редко удавалось кому-нибудь развеселить его, сохраняя при этом абсолютно серьезное выражение лица.

Войдя в мрачную, забитую мебелью квартиру, Давид испугался.

— Но, Эммелина, — сказал он, — ведь здесь жить нельзя!

— Это не важно, — сказала она, — и, потом, я тут надолго не останусь.

Хрустальные шарики были очень красивые, некоторые прозрачные, другие подернуты туманной дымкой.

— Прекрасное увлечение, — сказал, улыбнувшись, Давид. — Что ты видишь в них: то, что тебе хочется? Заглядываешь ли ты хоть иногда в будущее?

— Нет, — ответила Эммелина, — они пустые. Поэтому я могу смотреть на них сколько угодно.

Давид опечалился, он подумал, что Эммелине необходимо встречаться с людьми. Ему надо свести ее со своими друзьями, и прежде всего с Ингер и Инес.

Те приняли Эммелину довольно дружелюбно, вроде как приятную диковину, достойную того, чтобы войти в их общество и получить их покровительство, но всерьез они к ней не относились. Они не называли ее кратким именем, она так и осталась Эммелина; имя это было старомодным и забавным, стоило его сохранить. Но чаще всего ее называли «дружок». Бывало, они говорили друг с другом, не обращая внимания на Эммелину, словно ее вообще среди них не было, однако ничего дурного при этом не думали. Но иногда, когда слово брала она, они тотчас же замолкали и внимательно наблюдали за ней, в некоем напряженном ожидании. Но то, что могла сказать Эммелина, вовсе не казалось им чем-то примечательным, и почти с облегчением они продолжат беседу без нее.

Ингер говорила:

— Разумеется, она милая и приятная, но не кажется ли вам, что она чуточку наивна? И подумать только: что, если ей не хватает чувства юмора?

Ингер была высокой и красивой женщиной, она вела точный счет мужчинам, с которыми спала, не могла окончательно расстаться с ними и постоянно приглядывала, чтобы они не натворили глупостей, разумеется, кроме тех, что никак не избежать. В один прекрасный день она спросила:

— Давид, ну как ты, теперь тебе лучше?

И он с чувством острого презрения к себе вспомнил тот день, когда пришел к Ингер и рассказал ей о своих бедах и даже плакал в ее объятиях.

Теперь же он враждебно ответил:

— Как ты считаешь, почему мне не должно быть хорошо?

— Дорогой, — сказала она, — я знаю, ты такой гордый. Но обещай мне больше не думать ни о чем плохом. Не будешь? Ну хорошо, тогда я спокойна.

Он крепко прижал ее к себе, и она, зная его слабость, стала невероятно деликатна и тактична. И уже невозможно было обижаться на нее, потому что она так ясно и откровенно, так безоглядно была добра.

На работе ничего к лучшему не изменилось. Давид опаздывал только иногда, бывал вежлив с покупателями, а в ею знаменитые анекдоты вкрался оттенок иронии, что стало мешать покупателям.

— Да что с тобой? — спросил его шеф, спросил чрезвычайно любезно, потому что Давид ему нравился.

И Давид вдруг понял: ведь он как-то ненароком, как сказал бы Кнут, сделал все, чтобы его выгнали с работы. Но страх снова одолел его, и он пообещал собраться с силами и попытаться начать все сначала.

Однажды, когда Давид и Эммелина сидели за своим обычным столиком в кафе, он преподнес ей в подарок стеклянный шарик. Если встряхнуть этот шар, то внутри него над маленьким швейцарским домиком с окошками начинала бушевать метель, которая мало-помалу медленно утихала.

— Нравится тебе шар? — спросил он.

Эммелина улыбнулась и дотронулась до его руки.

Жест был дружеский, но напоминал то восторженное снисхождение, которое вызывает простодушный дар ребенка.

Все остальное время ужина Давид промолчал, а она не спросила, почему он перестал есть.

Внезапно он разразился:

— Тебе ни до чего нет дела!..

Эммелина внимательно посмотрела на него, она выжидала.

Он продолжал:

— Эммелина, что ты думаешь делать со своей жизнью, со своей единственной жизнью? Ты ведь не можешь лишь расточать время!

— Но мне хорошо! — сказала Эммелина.

— Конечно же! Цветок, который пытается расти в подвале! Неужели нет ничего, что тронуло бы тебя всерьез, ничего, что тебе хотелось бы делать? Делать что-то, быть может, собственными руками? Найти идею, которая важнее и значительнее, нежели ты сама? Понимаешь?

— Да! — ответила Эммелина.

— Послушай меня! Вот если ты сейчас получила бы возможность исполнить одно-единственное желание, как в сказке, ну ты знаешь... загадать что угодно, но только один-единственный раз, что бы ты себе пожелала? Петь лучше всех, или узнать все что можно о звездах, или о том, как делают часы, строят пароходы, да что угодно!

— Не знаю, — ответила Эммелина. — А ты, ты сам?

— Вставай, пойдем! — резко произнес Давид. — Здесь нечем дышать.

Они пошли по улице, мимо мастерской Кнута, уже закрытой, и направились дальше в парк. Моросил мелкий дождик. Пока они шли под деревьями, Давид начал говорить о тех муках, что приносит ему работа он выплеснул наружу все свои несчастья, но говорил о себе в третьем лице. Когда он замолчал, Эммелина сказала:

— Жаль его. Но если он слишком слаб для того, чтобы жить, ему, быть может, было бы лучше умереть.

И тогда Давид испугался.

Однажды вечером, когда Давид с Эммелиной были дома у Инес, случилась одна неприятность. После ужина Инес заговорила о своем новом вечернем платье.

— Подождите немного, — сказала она, — я надену его. А вы будьте абсолютно откровенны!

Все стали ждать, и наконец Инес вошла.

Эммелина сказала о платье:

— Оно очень красивое. — И добавила, словно сделав короткую заметку на полях: — Но тебе оно не идет.

Потом, уже на улице, Давид заметил, что ее последние слова были, пожалуй, совершенно неуместны.

— Не могла бы ты немного солгать, чтобы сделать человеку приятное?

— Конечно могла. Но пока еще нет...

— Не понимаю тебя, — сказал Давид. — Я только знаю, что ты могла бы попытаться быть учтивой с моими друзьями.

Не лучше вышла история и с Ингер. У нее в большой клетке жили канарейки, и за одной из них, общипанной и жалкой, гонялись по всей клетке другие птицы, и Ингер спросила:

— Что мне делать с этой маленькой бедняжкой?

— Убить ее, — посоветовала Эммелина.

— Но я не могу! Может, перья еще отрастут...

— Никогда они не отрастут, — сказала Эммелина.

Отворив клетку, она быстро поймала птичку и свернула тоненькую шейку... И та осталась лежать в своем неприкрытом убожестве.

— Спасибо, — неуверенно сказала Ингер.

Она отодвинулась, всего на один маленький шажок, но Давид это заметил и тут же увидел глаза Ингер... Он сказал:

— По-моему, нам пора домой.

Однажды Давид, взяв с собой Эммелину к Кнуту, предупредил ее:

— Эммелина, запомни, Кнут — мой друг.

Они вошли в мастерскую, и Кнут стал показывать ей машины, которые он любил больше всего. Давида удивило, что она задает такие профессиональные вопросы, пожалуй, она неплохо разбиралась в автомобилях. Кнут был воодушевлен. Он объяснял своей гостье все тончайшие нюансы, например, о катализаторах, и она, казалось, абсолютно все понимала.

На обратном пути Давид спросил:

— Но ты ведь не водишь машину?

— Откуда ты знаешь?

— Или ты снова врешь?

И прежде чем она успела ответить, он сказал:

— Ладно, оставим это. Кнуту ты понравилась.

Снег уже растаял, в небе появились голубые просветы, воздух был мягкий. Давид подумал: «Возьму-ка я автомобиль на фирме и поеду куда-нибудь за город с Эммелиной. Ей это необходимо. Возьмем с собой еду и целый день проведем на воздухе».

Но Эммелина сказала, что в конце недели она занята. Давид не спросил чем, но был обескуражен и даже чуточку оскорблен. Всякий раз, когда он звонил, она была дома и никогда никуда не торопилась, всегда была дома, как сама надежность, как некая опора, на которую можно положиться.

Дома для престарелых, эти большие, стоящие особняком здания за чертой города, очень похожие друг на друга, автобусы редко останавливаются здесь, они лишь чуточку замедляют ход и едут дальше...

В регистратуре Эммелину сразу же узнала одна из сиделок, она остановилась в коридоре и сказала своей подружке:

— Она снова здесь, вот увидишь, скоро у нас кто-нибудь умрет. В тот раз это было в двадцать пятой палате. Погляди, куда она пойдет.

— Я в это не верю. Она просто обыкновенная медсестра, у которой много свободного времени.

— Нет, нет, она всегда знает, когда кто-нибудь из них сыграет в ящик. Они боятся ее?

— Совершенно не боятся. Правду говоря, они становятся даже спокойнее. Не будь наивной, одна из них думает, что она царица Савская, а другой, что он — Наполеон. Так что почему бы не внушить себе, что ты — маленькая помощница Смерти.

И они снова разошлись по своим делам.

— Твоя милая подружка, — спросила Инес, — кого она, собственно говоря, из себя изображает? Играет в таинственность? В малютку, говорящую только правду? Честно, Давид, что-то мне в ней не нравится, но не знаю, что именно.

— Еще чего, — сказал Давид, — оставь ее в покое. И зачем тебе знать, какая она, позволь людям быть такими, какие они есть, это очень хорошее качество.

Инес пожала плечами.

— Ты не понимаешь, — сказала она, — по мне, пусть люди будут какими угодно чокнутыми, это их дело. Но эта девица — не просто со странностями. Она словно бы не живет настоящей жизнью, понимаешь?

— Нет, совершенно не понимаю, — ответил Давид, — я в самом деле не понимаю. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом.

— Хорошо, хорошо, как тебе угодно, но, во всяком случае, будь настороже. Что-то тут... ну ладно, я ничем не могу помочь... но что-то... опасное, что ли.

Инес и Ингер пытались изменить созданный им образ Эммелины каждая на свой лад, и лучше было встречаться с ними без нее. Или, пожалуй, не встречаться ни с кем, кроме Кнута.

Сидя на своем старом месте, за кружкой пива, они читали газеты, иногда Кнут вставал и бросал несколько монет в игральный автомат, но никогда не выигрывал и снова возвращался к столу.

— Знаешь что, — сказал он, — ночью мне приснился такой веселый сон, хотя обычно сны мне не снятся, и снилось мне, что мы стали компаньонами в мастерской. Ты замечательно продавал машины и заговаривал людям зубы, так же как ты делаешь на своей работе. И мы сумели открыть собственную торговлю пивом. Весело, правда?

— Очень, — сказал Давид. — Здорово! Кнут! Но эти женщины. Я их не понимаю. Они такие странные.

Подумав, Кнут спросил:

— Ты очень ее любишь?

— Не знаю.

— А она? Ты спрашивал ее?

— Нет.

— И теперь ты не знаешь, как быть дальше?

Склонившись над столом, Кнут сказал:

— Может, я ошибаюсь, но ты бы мог попытаться произвести на нее впечатление? Расскажи о своих планах на будущее, заинтересуй ее. Тогда вы вдвоем будете строить планы, и все пойдет гораздо легче, не правда ли? Вероятно, она знает, чего ты хочешь, на что намекаешь?

— Она, пожалуй, знает, — выговорил Давид, выговорил с большим трудом. — Она, кажется, знает все, и поэтому мне нечего сказать, понимаешь?

— Нет, это неправильно, — сказал Кнут и стал рассматривать свои руки.

И они заговорили о другом.

Но вот по-настоящему пришла весна. Когда-то Давид слышал или читал, что весна бывает опасна для того, кого обуревают черные мысли. Это тяжелая пора в круговороте времени, примерно так же, как четыре часа ночи, когда легче всего потерять надежду. Давид даже не пытался прогнать свои черные мысли, наоборот, он предавался им, несмотря на всяческое подбадривание со всех сторон, советы и взволнованные вопросы... И этот его чрезмерно-любезный и смущенный шеф на работе, и Ингрид, относившаяся к нему едва ли не по-матерински, они все вместе пытались помочь ему, все, кроме Эммелины: она — единственная, кто мог бы помочь, — молчала.

Ему было ужасно жаль самого себя. Выстроив все свои проблемы в один ряд, он созерцал их с горьким удовлетворением. Продолжать работу — исключено. Начинать заново то, с чем он не справится, — исключено, все исключено.

Он наказывал всех людей — и тех, и этих, и бог знает еще кого, тем, что не брился, не застилал свою кровать, не отдавал белье в стирку, тем, что покупал консервы, даже те, что не любил, и ел их прямо из банки... Да, для отчаявшегося человека существовало так много способов выказывать пренебрежение...

И прежде всего он играл со своей собственной смертью.

Ранним утром в понедельник Эммелина, стоя перед дверью Давида, очень спокойно объясняла, что ему необходимо уйти с работы.

— Это очень важно, — сказала она, — не дожидайся завтрашнего дня, Давид, прошу тебя.

— О чем ты говоришь? — спросил Давид.

— Ты знаешь, о чем я говорю.

— Эммелина, ты не понимаешь...

— Поверь мне, я понимаю.

Не дав ему времени ответить, она повернулась и стала спускаться по лестнице.

Вечером Давид пришел к ней и сказал:

— Я не смог.

— Так я и знала, — ответила она. — Ты испугался.

Он закричал:

— Испугался!.. Испугался!.. Ни один человек не застрахован от того, чтобы испугаться! Ну тебя, с твоими проклятыми стеклянными шариками, пустыми, совершенно идиотскими шариками!

И, хлопнув дверью, ушел.

На следующее утро Давид позвонил на работу и сказал, что болен. «Собственно говоря, — подумал он, — я никогда не был так болен, как теперь, с таким же успехом я могу умереть, я готов к смерти, хотя по моему виду этого не скажешь». На всякий случай он принял аспирин и измерил температуру, оказавшуюся нормальной, затем снова лег в кровать и натянул одеяло на голову, но телефон не выключил.

Телефон зазвонил только вечером, но это была всего-навсего Ингер.

— Милый друг, ты болен? — спросила она. — Это горло? Нет? Как ты себя чувствуешь?

— Скверно, — сказал Давид. — Пожалуй, болезнь эта затяжная.

— Могу я прийти к тебе и приготовить чай или чего-нибудь еще? Подумай, может, надо было бы вызвать врача, чтобы он осмотрел тебя?

— Нет, нет, со мной ничего, ровным счетом ничего страшного. Я только хочу спать и чтоб меня оставили в покое, абсолютном покое, понимаешь?

Прежде чем Давид успел исправить свою невежливость, Ингер спросила:

— Не позвонить ли мне Эммелине?

Этого он от Ингер не ожидал и на миг утратил дар речи.

— Ты слушаешь? — спросила она.

— Да! Мне хорошо, все хорошо, Ингер. Спасибо тебе. Ты, наверное, скажешь ей, что мне совсем худо?

Давид ждал, однако дверной колокольчик так и не зазвонил. Но задребезжал телефон, раздался голос Эммелины. Наконец-то!

— Давид? Ингер говорит, ты болен. Она была очень приветлива.

— Приветлива? А почему ей не быть приветливой?

— Она меня не любит, — как бы мимоходом объяснила Эммелина. — Что с тобой?

— Я не знаю. Все плохо.

— Конечно плохо. Однако мне кажется, что тебе лучше встать. Я жду внизу на углу.

На какой-то миг его обуял гнев, но он только сказал:

— Ты понимаешь, что я очень слаб?

— Я знаю, — ответила Эммелина.

На улице весенние сумерки были почти теплыми.

Она сказала:

— Пойдем встретимся с Кнутом, он огорчен, что ты так редко показываешься.

— Ты с ним разговаривала?

— Нет! Но он огорчен.

Когда они вошли, Кнут поднялся из-за стола.

— Привет! Как приятно! — сказал он. — Фрёкен, две большие кружки пива и маленькую рюмку мадеры для дамы. На работе — полный порядок?

— Да так... Ну а ты? Тебе удалось продать что-нибудь за последнее время?

— Ну да, один «мерседес», а удалось, потому что я сказал, что, мол, один твой друг ездит на машине той же марки, подержанной. По-настоящему, тебе следовало бы заплатить процент от продажи! А что вы делаете сегодня вечером?

— Ничего особенного.

— Это хорошо, надо находить время, чтобы ничего не делать, это правильно, надо уметь отдыхать. Так, как это делает малютка Эммелина. Она просто существует и всегда такая, какая она есть — не правда ли?

Он улыбнулся Эммелине, встал и бросил несколько монет в игральный автомат.

Они сидели довольно долго и переговаривались, когда им этого хотелось.

Давид с Эммелиной возвращались домой, пошел дождь.

— Собственно говоря, весенний дождь — это замечательно, — сказал Давид. — Да и краски лучше видны.

Давид не знал, что сильнее: его преданность Эммелине или его уважение к ней, — а где-то в нем жило и слабое чувство страха, которое испытываешь перед тем, что тебе чуждо и что — совсем иное, что не поддается пониманию... И больше не удавалось сохранять в душе образ девушки со свечой; непостижимое каким-то образом удалялось все дальше и дальше.

Настало время, когда по телефону Эммелины стала отвечать прислуга:

— Нет, фрёкен нет дома, нет, она ничего не просила передать.

И так каждый день, в любое время суток, ее все не было и не было. Давид не позволял себе беспокоиться, у него и в мыслях не было, что с Эммелиной могло что-нибудь случиться. Он был лишь безгранично уязвлен тем, что она его бросила как раз тогда, когда он больше всего в ней нуждался.

И когда она наконец появилась, он закричал:

— Где ты пропадала? Ты мне не друг! Ты ведь знаешь... и так себя ведешь!

— Я была занята, — сказала она. — А теперь я здесь.

Пройдя мимо него в комнату, она села у стола.

Давид смотрел некоторое время на ее прекрасные волосы, тяжелые и мерцающие, а потом сказал:

— Я так ужасно устал, и ты это знаешь.

Эммелина сказала:

— Давид, мне некогда ждать, пока ты отдохнешь, уже поздно, и мне пора уходить.

— Твой голос звучит так строго, почему?..

— Ладно! Поспи немного, — сказала Эммелина, — я буду здесь, когда ты проснешься.

Он заснул; как поступил бы приличный человек, чтобы другие не испытывали угрызений совести? И тут же Давид впал в другой сон, в котором вел себя с болезненной четкостью и заставил всех вокруг бичевать себя за поступки, которым нет прощения.

Когда он проснулся, Эммелина была в его комнате. Вовсе уже не строгая, она нежным голосом спросила:

— Давид, ты считаешь, что поступаешь правильно? Подумай, неужели тебе ни капельки не любопытно?

Давид не слышал, он воскликнул:

— Эммелина! Ты знаешь, что я люблю тебя... — и быстро добавил: — Не говори, не говори, что тебе это известно!

Она наклонила голову, ее прекрасные волосы упали на лоб, так что он не видел ее лица, когда она ответила:

— Этого я не знала.

Потом, когда она ушла, он помнил лишь, что она обещала вернуться, но позже, гораздо позже, так она сказала.

Давид проспал всю ночь без сновидений и проснулся в середине дня, зная: нет ничего, что было бы слишком поздно, абсолютно ничего. Потом мало-помалу он собрался, поехал автобусом на работу и встретил своего шефа.

— Хорошо, — сказал шеф, выслушав его, — я понимаю, желаю счастья и дай как-нибудь о себе знать.

Все произошло совершенно просто. Давид подождал несколько дней, наслаждаясь в одиночестве вновь обретенной свободой. А потом поднялся этажом выше и позвонил в дверь Эммелины.

Отворила ему прислуга.

— Нет, — сказала она, — фрёкен уехала вместе со своими стеклянными шариками и со всем остальным. Я тоже скоро съеду отсюда. Прекрасная погода, верно?

— Разумеется, — ответил Давид. — И она не оставила никакого адреса?

— Нет, не оставила. По правде, я огорчена.

— Не огорчайтесь, — сказал Давид. — Она обещала вернуться.